

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
М Е М У А Р Ы

Райнхольд Браун

ШРАМЫ ВОЙНЫ



**ОДИССЕЯ ПЛЕННОГО СОЛДАТА
ВЕРМАХТА**

1945

Райнхольд Браун
Шрамы войны.
Одиссея пленного
солдата вермахта. 1945
Серия «За линией фронта. Мемуары»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6281715

Шрамы войны. Одиссея пленного солдата вермахта. 1945 / Пер. с нем.

А.Н. Анваера.: Центрполиграф; Москва; 2013

ISBN 978-5-9524-5089-9

Аннотация

Весть о том, что окончилась война, застала Райнхольда Брауна во время жестоких боев в Чехословакии. И с этого момента началась его долгая и полная опасностей обратная дорога на родину в Германию. Браун пишет о том, как прошел через плен, об унижениях, голоде, холоде, о тяжелом труде и жестоких побоях. О бывших товарищах по оружию, которые за лишний кусок предавали своих соотечественников, и тех, кто остался верен фронтовому братству, о том, что такое подлость и настоящая дружба. Вместе с боевыми товарищами он переживает горечь разочарования от того, что все жертвы и лишения были напрасны, Германия пала, с обеих сторон

горы трупов, разрушенные города и легионы искалеченных, изуродованных судеб. И как это часто бывает с бывшими солдатами вермахта, автор не видит вины своего отечества в преступлениях, совершенных против человечества.

Райнхольд Браун Шрамы войны. Одиссея пленного солдата вермахта. 1945

Reinhold Braun

NARBEN

GESCHLAGEN. GEFANGEN. GEFLOHEN

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2013

© Художественное оформление серии, ЗАО «Центрполиграф», 2013

*Посвящается Бернгарду Вольтману, человеку,
не покинувшему меня во всех превратностях судьбы*

Осенью 1946 года я поступил на медицинский факультет Вюрцбургского университета и вместе с восемью сокурсниками поселился в голой обшарпанной комнате в здании физиологического института. В комнате стояли девять кроватей и длинный стол. Шкафов не было — для них в комнате просто не хватило бы места. Снятую на ночь одежду мы вешали на вбитые в стены гвозди. По ночам мы спотыкались о

стоявшие между столом и кроватями протезы.

Здесь, в этой унылой комнате, мы начали с чистого листа устраивать свою жизнь, придавать ей новое направление и новый смысл. Питались мы на черном рынке, но альма-матер закрывала на это глаза; несмотря ни на что, мы оставались ее самыми даровитыми учениками. Мы искренне ее любили, и она, как истинная мать, многое нам прощала. Университет тоже был обескровлен и хотел восстановиться. В первом семестре я часто пропускал лекции. Я должен был писать, и я писал – каждый день до глубокой ночи. Я писал и писал, мысленно советуясь с отцом, поговорить с которым наяву я тогда не мог, он жил в русской зоне оккупации и был для меня недоступен. К тому времени, когда они с матерью сумели тайно перейти границу и мы снова воссоединились, я уже написал все, что хотел. Я наконец был свободен.

Спустя шестнадцать лет я совершенно случайно нашел те свои записи. Теперь я стал запоем их читать. Воспоминание, разбуженное этим чтением, было так сильно, что на какое-то время я замкнулся в себе, избегая общения с людьми. Ныне я живу в благополучии и достатке и наконец выпускаю свои записанные мысли на волю. Они не должны принадлежать одному мне. Я открываю их тебе, дорогой читатель. Я изменил лишь имена и местопребывание моих друзей, ибо распри и ненависть не перевелись еще в нашем мире.

Жизнь идет своим чередом, и раны постепенно затягиваются. На их месте образуются рубцы и шрамы. Мудрый про-

сто смотрит на них, и лишь глупец не переставая их берedit.

Я веду этот рассказ, потому что должен это делать. Не знаю, смогу ли я рассказать все, но постараюсь изо всех сил.

Ночь.

В глубоком ущелье, высоко в Карпатах, лежал человек. Он лежал возле костра, который развел во мраке ночи. Стояла зима. Земля затвердела от мороза. Человек поднялся сюда из долины. С трудом пробрался он к вершинам, утопая по пути в глубоком снегу. Теперь он отдыхал, восстанавливая силы. Он придвинулся к огню и лежал, неподвижно глядя на языки жаркого пламени. Когда начинала мерзнуть спина, он переворачивался на другой бок.

Непроницаемый мрак темной стеной окружал призрачный огонек, лишь сгущавший черноту ночи. Стояла неправдоподобная тишина – слышался только негромкий треск пламени да завывание ветра в верхушках деревьев. Кто мог услышать, как стонет и плачет душа этого человека? Страшное волнение владело его чувствами и мыслями. Но по его поведению никто бы не сказал, какие сильные чувства его бушуют. Человек лежал у костра и не спеша, время от времени подбрасывал в него сучья. Дров под снегом было в избытке, и смерть от холода человеку не грозила. Тем человеком был я.

Мы яростно дрались в Чехословакии, когда утром 9 мая узнали, что все кончено: Германия капитулировала. С ужасающей ясностью над нами нависла страшная сила, гибельное и неотвратимое приближение которой мы смутно чувствовали все последние недели. Конец настал, фатальный, достоверный конец. Курилась туманом пропитанная кровью земля, друзья и враги были окутаны смертоносным, призрачным, черным чадом проигранной войны. Все было кончено! Наше отечество сложило оружие. Наша родина разбита. Наша Германия была наказана, как никогда прежде. Мы отказывались понимать, что произошло, хотя нам все было ясно – каждая клеточка моего существа противилась осознанию ужасной мысли. Надо ли было доблестно драться за это шесть лет на всех фронтах?! Это ли должно было стать наградой за пережитые муки, лишения и страхи – вернуться в развалины наших городов, лишившись всякой надежды на будущее? За это ли пали миллионы наших товарищей? Разве не шли они в бой с верой в то, что смогут спасти землю наших отцов от поражения? А миллионы изуродованных и искалеченных? Армия переживших невообразимый ужас и кошмар? Их жертвы оказались ненужными, напрасными?

Бледный и растерянный, стоял я в толпе одетых в серую форму бывших солдат. Мне казалось тогда, что мир утонул в напрасно пролитой крови. Тщетно пытался я представить себе лицо одного моего убитого друга, который буквально накануне напоил землю кровью из своей страшной раны. Я не

находил лица, да и как я мог... Серой была толпа, в которой я стоял, серыми и спутанными были мои мысли... Все было напрасно! Все даром! Германия пала! С обеих сторон горы трупов! С обеих сторон легионы искалеченных, израненных, изуродованных. С обеих сторон руины, пепел и слезы. Кровавый туман покрыл землю. И Богу было угодно, чтобы Германия оказалась в самой глубокой бездне этого страдания...

Понимание конца и разгрома пожирало нас медленно, но неотвратимо, порождая настроение, которое невозможно описать словами, но которое, как мы отчетливо сознавали, останется с нами до конца наших дней. Ввиду ужасного поражения задача нашей дивизии сразу изменилась. Теперь не надо было прикрывать наступление одетой в серые мундиры армии, нам предстояло с боями отступать на безжалостно поверженную родину. Всякое сопротивление стало бессмысленным. Уцелевшие остатки разбитой армии начали выползать из укрытий и уходить от неприятеля. По земле покати-лась волна отступления. Вскоре мы убедились, что двигаться крупными соединениями нам не удастся. Кольцо окружения было слишком плотным. Стоило нам высунуть нос, как мы попадали под убийственный огонь. Мы разделились на мелкие группы, каждая из которых отныне распоряжалась своей судьбой. Нашей группе в одну из ночей удалось прорваться сквозь русские боевые порядки и незамеченной выбраться на шоссе. С наступлением утра мы укрылись в лесу, чтобы спрятаться от противника. Самое трудное мы сделали, но те-

перь мы находились на занятой русскими территории, население которой с фанатичной ненавистью охотилось за нами. Покой, которым мы наслаждались на рассвете, вскоре закончился короткой стычкой с партизанами. Перестрелка была скоротечной и бескровной, противник быстро отступил, но тревога была поднята, и теперь нам предстояло встретиться с куда более серьезным противником – с русскими, и мы решили, что самое разумное – это еще более мелкими группами и поодиночке рассеяться в разные стороны.

Вдвоем с одним товарищем мы углубились в лесную чащу. Мы пробрались в отдаленный лес и укрылись в порослях молодого сосняка. Сквозь раскидистые ветви проникал сумеречный свет. Спали мы по очереди, с нетерпением ожидая наступления ночи. Временами издали доносились пулеметные и автоматные очереди. Иногда стрельба опасно приближалась. Это были наши товарищи, которые, обнаруженные врагами, были сейчас вынуждены защищать свою свободу и жизнь. Никто из нас не желал попасть в руки русских. Самым страстным желанием было уйти от русских – не важно как, любой ценой. Бежать на родину, по возможности в районы, занятые американцами или англичанами, затаиться там и дожидаться, когда отзвучат последние залпы! Пройдет время, и настанет день, когда для нас начнется новая жизнь! Какой будет эта жизнь, никто из нас не знал, но у большинства из нас были мечты, которые хотелось осуществить, и долги, по которым надо было расплатиться. На самом деле наилучшим

выходом, вероятно, было бы взять пистолет и покончить со всеми бедами сразу. В то время оружие сделало нас легкомысленными – у смерти, как и у медали, две стороны.

Когда стемнело, мы покинули наше убежище и, напрягая слух и зрение, направились на запад – в сторону родной Германии. Компасом нам служили звезды, а постоянным спутником стал необъяснимый страх, подгонявший нас – словно мы могли опоздать к какому-то назначенному сроку. Мы часто останавливались, прислушиваясь к звукам, доносившимся из близлежащей деревни или с дороги, а потом снова спешили дальше. Так мы шли под покровом ночи до тех пор, пока на восточном горизонте не появлялась блеклая полоска рассвета. Тогда мы снова залегали в густых кустах, чтобы избежать опасности быть обнаруженными при свете дня. Но кто, скажите на милость, сможет просидеть целый день на месте, когда все чувства до крайности напряжены, душа томится от нетерпения, а сердце сжигается от страха – не успеем? Позже, находясь в плену, я научился подавлять в себе это нетерпение, но тогда я этого не умел, и мы с товарищем покинули убежище до заката, надеясь, что сможем незамеченными передвигаться и днем.

Мы недалеко ушли. Расплата за нетерпение наступила быстро и неотвратимо.

Бежать было некуда. Судьба настигла нас посреди широкого поля: нас атаковали восемь или десять вооруженных чешских всадников. Из-под копыт клубами поднима-

лась пыль, гремели выстрелы. Наше положение было безнадежным. Побросав оружие на землю, мы подняли руки. Через мгновение всадники обступили нас со всех сторон. Они захватили нас без сопротивления: мы стали пленными.

Что они с нами сделают? Пристрелят, будут пытаться?

Они не сделали ни того ни другого. Резкие и громкие слова незнакомого языка, ржание коней. Двое всадников спешили. Они обыскали нас: все в порядке, оружия нет. Те двое снова вскочили в седла. Всадники натянули поводья, развернули лошадей и показали нам направление, в котором нам следовало идти. По краю поля нас повели в ближайшую деревню, где передали другой группе партизан, как они сами себя называли. После этого мы долго шли куда-то пешком. Лица сопровождавших нас трех партизан были усталыми и равнодушными. Впрочем, я мог бы назвать их симпатичными – это были простые крестьянские парни. Один из них дал нам хлеба.

На окраине небольшого городка партизаны передали нас русским. Здесь мы встретили многих товарищей, согнанных сюда из разных мест партизанами или русскими. Первым делом на нас напали какие-то грубые подонки, которые отобрали все ценные вещи, какие у нас еще оставались. Это были помогавшие русским разъяренные чехи с красными повязками на руках. Со свирепой руганью эти люди срывали с нашего обмундирования знаки различий. Грабежом они тоже не гнушались. Слава богу, я успел спасти часы! Быстрым

незаметным движением мне удалось спрятать их в сапог. После этого я берег их изо всех сил, и, как оказалось, не зря, ибо часы были в плену просто неоценимым сокровищем. Во время того первого грабительского обыска, который потом пленные метко окрестили «валянием», я сумел, кроме того, сохранить фотографии моего погибшего брата и возлюбленной. Впоследствии, в самые тяжелые часы плена, они придавали мне сил и приносили утешение.

Ближе к вечеру побитое и ограбленное воинство построили в колонну, и оно, под охраной русских конвоиров, потянулось навстречу неведомому будущему. С неба немилосердно пекло жаркое солнце, клубившаяся из-под наших ног пыль толстым слоем ложилась на потные лица. Фляжки у большинства из нас отняли, и вскоре нас начала мучить невыносимая жажда. Но на марше о воде можно было забыть. Почти все русские ехали верхом, и наши страдания их совершенно не волновали. Оглядываясь назад и припоминая муки, которые нам пришлось перенести впоследствии, я понимаю, насколько смехотворно упоминать о такой мелочи, как жажда. Но все на свете начинается с ничтожной малости, и этот короткий переход с мучительной жаждой был лишь началом беды, началом, которое кажется пустяком по сравнению с тем, что ожидало нас впереди. Самое ужасное заключалось в том, что мы проходили мимо колодцев и ручьев, но не могли из них напиться. С ужасающей ясностью мы только тогда осознали перемену нашего положения: мы перестали

быть солдатами, мы стали пленными. Победители могли делать с нами все, что им было угодно. Мы навсегда попали в руки врага.

Ничто не изменилось и после того, как мы вошли в какую-то деревню. Нам наверняка дали бы воды, если бы этому не воспротивились русские. В глазах многих женщин, особенно пожилых, я видел сочувствие. Мужчины были суровы, но не кричали на нас и не бросали в нас камни, как это случилось, когда мы проходили через следующий городок. Это еще больше убедило меня в том, что все народы добры и легко уживаются друг с другом, если травля и пропаганда не сеют в них ненависть и злобу. Яд, рассыпаемый фанатиками, бесноватыми и одержимыми, как едкая кислота, разъедает всякие ростки взаимопонимания. Тогда на месте народа возникает страшная толпа, сметающая все на своем пути, толпа, ослепленная яростью, топчущая всех, кто не похож на нее.

Есть ли надежда на долгий мир между народами? Возможен ли он в принципе? Может ли какая-нибудь великая идея, какое-то великое движение духа захватить все народы и принести земле долгожданный мир? Не разрушат ли его отчаянные головы, замутненные дурным духом?

Но я все же твердо убежден в одном: если бы миром правили разумные, то есть признанные всеми народами законы, то и на всей земле неизбежно наступил бы вечный мир. Тогда наступит время, когда люди начнут воспринимать свою прошлую историю, как волшебную сказку, празд-

ный вымысел. Но кто сможет откровенно высказать такую смелую мысль, зная, что в тысячах уголков таятся распри и раздоры и что разум еще долго не сможет править всем миром? Но я верю, что парламент народов, в котором будут заседать лучшие из лучших, станет идеальным правлением, способным сохранить и упрочить мир во всем мире. Мыслей может быть бесчисленное множество, но последняя из них будит и отрезвляет: ты понимаешь, что грезил наяву.

Может быть, вражда – это закон природы, и мы никогда не придем к мирному единению, а, наоборот, в один прекрасный день сами приведем к гибели весь род человеческий. Динозавры за сотни миллионов лет безмерно развили свое тело и тем самым предуготовили свою гибель.

Человек, этот юный отпрыск матери-земли, безмерно развил свой мозг, что позволило ему создать чудеса техники. Смеем ли мы двигаться дальше? Не преступаем ли и мы границы? Пепел Хиросимы и Нагасаки дымится до сих пор. Одна атомная бомба может убить миллионы людей. Во время войн проливается лучшая кровь. Наши современные города, если их не спалила война, приводят к вырождению населяющих их людей. Мы можем судить об этом по опыту последних нескольких столетий европейской истории. Современная медицина позаботится о том, чтобы окончательно испортить человеческую наследственность. Как будет выглядеть наша планета через тысячу лет? Жизнь на ней может просуществовать еще миллиарды лет, но останемся ли мы, люди?

Как близок час икс?

Над нами довлеет какой-то загадочный и непостижимый закон. Я твердо в этом убежден.

Но довольно об этом. Я собираюсь рассказывать о своих злоключениях в плену. Но как много мыслей будит эти воспоминания, их поток буквально захлестывает меня.

Во время того печального перехода я многое узнал о судьбах товарищей, убитых разъяренными чешскими партизанами. После долгого изнурительного марша мы оказались наконец в маленьком чешском городке Пацове. Мы добрались до него около полуночи. Нас еще раз построили на Рыночной площади и снова обыскали, отобрав все, что мы, как нам казалось, сохранили после первого обыска. Я лишился последних сигарет и консервов, которые мне оставили в первый раз, но сумел сохранить часы и фотографии. После того как эта процедура закончилась, нас отвели на огороженный и охраняемый луг и велели сесть на землю. Но первым делом мы попадали возле пруда на краю луга, вокруг которого уже скопилось несколько сот человек. Мы с наслаждением напились затхлой стоячей воды, прежде чем разбрестись по свободным уголкам большого луга, на котором тесно расположились тысячи солдат. Здесь нам предстояло провести ночь. Те, у кого были одеяла, могли считать себя счастливыми. Стояла поздняя весна, и шинелей ни у кого не было, а у тех, кто таскал с собой шинели, их уже давно отобрали. Мы не стали долго раздумывать. К нам присоединились

еще два товарища, и мы улеглись, тесно прижавшись друг к другу, как брошенные щенки. Так мы и провели ночь. Мы с Генрихом оказались посередине и поэтому мерзли только снизу и сверху.

Ночь и усталость буквально приковали нас к земле. Спали мы плохо, но не от холода. (Сколько ночей мы провели в окопах!) Спать нам не давала одна мысль: мы в плену! Что сулит нам утро? Я лелеял мечту о побеге. В мозгу шевелилась одна и та же мысль, не давали покоя одни и те же вопросы: как, когда и где? И снова: как, когда и где? Ответов на вопросы не было, и пустоту эту заполняли тоска и боль. Я не смогу найти слова, чтобы описать то, что я передумал и пережил в эту и следующие ночи, лишавшие меня покоя. Но ты, мой читатель, наверняка догадываешься, что многое из мной тогда пережитого теперь подсознательно определяет и направляет мою жизнь. На следующее утро мы ощутили чувство голода, которое сначала было терпимым, но потом стало для нас источником невыносимых мучений. Голод! Но русские все же решили позаботиться о нас. Утром, незадолго до полудня, на нескольких грузовиках привезли бочки из-под бензина. В этих огромных бочках нам предстояло варить себе еду. Мы разбились на группы, и каждая группа получила такой «котел». Вскоре нам раздали и продовольствие: на каждую группу фунт гороха и два килограмма хлеба на тридцать человек. Вечером суп был готов. От него за версту разило бензином. В остальном он мало отличался от затхлой воды,

на которой его варили. Но мы же своими глазами видели, что в нем плавает целый фунт гороха, и к тому же это был горячий суп! Но, глядя на кипящее «варево», мы вдруг поняли, что нас подстерегает еще одна неприятность. Лишь у немногих из нас остались котелки или кружки. Счастливымчиком мог считать себя тот, кто сумел найти старую консервную банку. Ему, во всяком случае, не пришлось просить одолжения у товарищей, сохранивших котелки.

Позже мне удалось раздобыть такую консервную банку, и она верой и правдой служила мне все время, что я пробыл в плену. Человек, не переживший ничего подобного, едва ли сможет понять, насколько ценным и незаменимым может стать такой пустяковый предмет, как старая ржавая консервная банка. Тем, кому потом, когда голод стал по-настоящему невыносимым, так и не удалось раздобыть какую-нибудь емкость, грозила голодная смерть. У такого бедняги не было шанса, быстро покончив с порцией, зачерпнуть со дна бочки еще немного супа. Да, это было. Кому-то доставалось больше, а кто-то, недоедая, становился все слабее и слабее. Три четверти литра водянистого супа на обед и три четверти на ужин. Помимо этого мы получали 400 граммов хлеба. Но и этот скудный рацион мы стали получать регулярно лишь через несколько недель. Вначале супа не хватало. Каждому доставалось по неполной банке. Один ломтик хлеба на целый день. Лишь со временем ломтики стали толще, и мы стали чувствовать, что жуем хлеб. К нашему стыду надо признать-

ся, что очень скоро многие из нас превратились в голодных зверей, готовых на все за кусок хлеба.

В толках и пересудах прошел первый день. Мы снова, как щенки, улеглись на землю, моля Бога, чтобы с небес не закапал дождь. Бог смиростивился над нами. Но днями Бог немилосердно сжигал нас своим солнцем. В полном отупении мы сидели на земле, изнемогая от невыносимой жары. На лугу не было ни единого деревца, в тени которого можно было бы укрыться от палящего солнца. Не было ни одного прохладного места, ни дуновения свежего ветерка. Русские приказали нам остричь друг другу волосы. Нам раздали ножницы, которые одна группа передавала другой. «Лысых» становилось все больше и больше. Через несколько дней острижены были все. Мы стали чужими друг другу, изменившись до неузнаваемости. Таким странным способом нас сделали одинаковыми. Мы негодовали, но что мы могли поделать? Теперь нас попросту заклеямили. Нам стало окончательно ясно, что мы стоим на пороге страшного времени, и никто не мог оценить масштаб ожидавших нас бед. По беспомощной толпе пленных постоянно циркулировали самые невероятные слухи, лишавшие нас остатков способности к здравым суждениям. Водоворот взглядов, мнений, догадок и страхов сбивал с толку и пугал. Со всех сторон доносились самые разные сведения, новые решения, самые невероятные толкования неясных событий. Но, несмотря ни на что, мысли о скором возвращении домой продолжали кружить наши стри-

женные головы, смятенный дух порождал самые немыслимые умозаключения, питавшие безумные грезы. Но действительность предъявляла нам свидетельства, от которых мы не могли отмахнуться. Вскоре из уст в уста стали передаваться слухи, жалившие нас, как злые осы: нас отправят в Сибирь, на каторжные работы и на много лет. Мы смирились против воли, но лишь немногие смогли сохранить хладнокровие.

Вскоре русские внесли в этот вопрос окончательную ясность.

К лагерю подъехал грузовик с громкоговорителем, и нам – сквозь треск несовершенного динамика, но достаточно громко – была объявлена наша дальнейшая судьба. Это был первый и единственный раз, когда наши хозяева сказали что-то о нашем будущем. Говорил какой-то тип из так называемого комитета «Свободная Германия», бывший майор и кавалер Рыцарского креста. В этой речи бесконечно повторялась до сих пор звучащая в ушах фраза о коллективной вине нашего народа. В конце бывший майор объявил, что, согласно праву и справедливости, мы отправимся в Россию. Своим трудом мы будем должны возместить тот ущерб, который причинили советскому народу.

Вопреки нашим ожиданиям нас еще довольно долго держали в Пацове. Правда, за это время мы поменяли луг. Построив в длинную колонну, нас увели со старого места на новый участок голой земли. Он был окружен тремя рядами толстой колючей проволоки, но у него было одно неоспо-

римое преимущество – посередине нового лагеря протекал глубокий – по колено – ручей. Мы по-прежнему проводили круглые сутки под открытым небом. Мы стали стадом, загнанным за колючую проволоку, и я часто поражался долготерпению животных. Я перестал задумываться о будущем и не вспоминал прошлое. Только так можно было выдержать плен – стать такими же, как животные.

Начавшийся период дождей заставил нас прилежно поработать. Преодолевая свинцовую усталость, мы выкопали в земле ямы и покрыли их хворостом, эти норы стали нашими убежищами, нашим жильем. Конечно, все это было не так просто, и, собственно, осуществить такое строительство мы смогли только после того, как нас стали выводить на работу в лес, откуда мы могли приносить строительный материал. Потом нам сообщили план работ – нам предстояло построить на этом месте ряд грубо сработанных землянок. Для какой цели – нам не сказали. Нас выводили в лес, там мы валили деревья, очищали их от сучьев, а затем волокли на огороженный колючей проволокой луг. В лагере уже другие пленные рыли громадные ямы и обкладывали бревнами стены. Когда шел дождь, мы промокали до костей, когда светило солнце, мы потели в этих землянках так, что пот тек ручьями. Ночами мы сильно мерзли, а утром были оцепеневшими, как жуки, медленно оживающие при свете дня после холодной ночи. Дни шли за днями – пустые и бессмысленные. Если группу в какой-то день не выводили на работу, то люди сидели перед

своей землянкой и ждали того счастливого момента, когда можно будет наполнить консервные банки невообразимым супом. Это были благословенные минуты. Однако жадность, алчность буквально носились в воздухе вокруг бочек, в которых кипел суп. Многие завистливыми взглядами смотрели на порцию хлеба товарища. Слишком часто в людях просыпался дикий зверь. Я вспоминаю безобразные сцены, когда люди били друг друга в кровь из-за того, что кто-то украл у товарища пайку хлеба или обманул его при раздаче. Вскоре мы соорудили из колючей проволоки клетки, куда сажали воров на всеобщее обозрение.

В такой атмосфере люди, сильные духом, не могли не восстать против разгула низменных страстей и инстинктов. Это самые волнующие и трогательные воспоминания моей жизни. Я и сейчас вижу, словно наяву, как посреди бед и горестей возник кружок людей, воля и поступки которых преградили путь сорвавшимся с цепи низости и подлости. Неожиданно оказалось, что среди нас есть люди, которые хотели остаться людьми и сохранить верность родине – пусть даже обесчещенной и опозоренной. В разных частях лагеря стали возникать небольшие культурные группы, часто очень малочисленные. Эти группы, эти маленькие ячейки, изо всех сил противостояли всеобщему оскудению. Создавались кружки по интересам, в которых обсуждались исторические, естественно-научные и прочие проблемы. В этих группах организовывали встречи, на которых люди старались поддержать

свой дух или поговорить о по-настоящему серьезных вещах. Именно в то время я познакомился с друзьями и товарищами, которых не забуду до конца своих дней. Вот лишь некоторые имена, которые никогда не изгладятся из моей памяти: Людвиг, актер из Вены, Герд – истинный почитатель муз, всегда находившийся в хорошем настроении Феликс и весельчак Ганс.

Нам приходилось жить и общаться среди тупой, равнодушной массы. Вскоре мы стали неразлучны и встречались каждый день. Мы говорили о множестве разных вещей, духовно и интеллектуально обогащая друг друга. Да, мы смеялись и радовались, стараясь духом отвлечься от суровой и грозной действительности. В скором времени мы начали разыгрывать театральные спектакли, декламировать баллады, всплывшие в памяти, или делать доклады об искусстве и наших немецких поэтах. Свои выступления мы проводили на открытой сцене, которую сколотили из сосновых досок на свободном от человеческих испражнений участке лагерного луга. Скоро мы стали лагерными знаменитостями, и вечерами, всякий раз, когда мы объявляли о предстоящем представлении, к самодельной сцене стекались большие группы пленных. Но самым лучшим было наше общение, и, честно говоря, если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель посмотрел на нас в этот момент, то едва он смог бы догадаться, что эти стриженные наголо, небритые люди с обветренными лицами, больше похожие на уголовников, говорят о

прекрасных и возвышенных вещах. Внешность наша была ужасна – грязь, пыль, вши. Постоянный голод начал сильно отражаться на внешности. Но дух наш парил выше, чем в первые дни плена. Я не могу сейчас описать нашу тогдашнюю жизнь во всех подробностях, скажу только, что именно тогда в моей душе открылся источник, который не иссяк до сих пор. Что еще могу я рассказать о лагере в Пацове? Надо ли рассказывать о жертвах и ужасах, воспоминания о которых до сих пор терзают мою душу? Надо ли писать о том, как много было среди нас больных, не получавших никакой помощи? О том, как они, скорчившись от страданий, валялись в грязных землянках? Надо ли писать о тифе, унесшем множество жизней? Вспоминать ли о том, как расстреливали пленных, осмелившихся приблизиться к колючей проволоке? Стоит ли говорить о страшном голоде? Нет! Я хочу похоронить эти картины в глубинах памяти, ибо на фоне всех этих страданий тем ярче сияло солнце нашей дружбы, нашего товарищества, помогавшего преодолевать все невзгоды.

В середине июля наш лагерь был передислоцирован.

В одно отнюдь не прекрасное утро колонна усталых и изможденных бывших немецких солдат потянулась по пыльной проселочной дороге навстречу новому мученичеству. Естественно, перед выходом нас снова обыскали. Часов я уже давно лишился, так что терять мне было уже нечего. Свои часы я однажды очень удачно обменял на добрый ку-

сок хлеба. В этом походе, в течение которого мы прошли не более 70 километров, стало ясно, что может произойти с людьми после семи недель русского плена. Не прошло и часа, как многие товарищи стали падать от слабости. На дороге разыгрывались ужасающие сцены, описывать которые у меня нет ни желания, ни душевных сил. Серая кишка изможденных и изнуренных немецких солдат тащилась от городка к городку. Содрогаясь от боли, эта кишка тем не менее ползла по пыльным дорогам. Песок разъедал раны, а с неба огнем палило беспощадное солнце.

Вечером нас пригнали на очередной луг. Там каждый получил по куску хлеба. Потом мы без сил попадали в мокрую от росы траву. В тот момент мы были не способны ни о чем думать. Слава богу, нам разрешили спать. Около полуночи начался сильный дождь. Промокшие до нитки, мы поднялись и, поддерживая друг друга, пошатываясь, простояли несколько часов до рассвета, словно превратившись в первозданную глину, которую Создатель снова швырнул на землю.

С рассветом мы пошли дальше. Преодолевая боль и усталость, мы с трудом переставляли оцепеневшие ноги с растертыми в кровь ступнями. Некоторые шли босиком. Снова поднялась пыль, которая, опускаясь, слоями ложилась на потные лица, противной коркой хрустела на губах, раскаленным шлаком жгла утомленные глаза.

Во второй половине дня мы дошли до Немецкого Брода. Этот богемский городок стал вторым этапом моей жизни в

плению. До наступления темноты мы расположились на летном поле аэродрома, а потом нас погнали в новый лагерь. Но до этого нас снова обыскиали. Что у нас хотели найти, для меня навсегда осталось загадкой, но, как злая шутка судьбы, эти обыски регулярно повторялись на всем протяжении лагерной жизни.

Лагерь в городке Немецкий Брод имел уже то преимущество, что в нем были настоящие дома с крышей, да и вообще на первый взгляд условия здесь были несравненно лучше, чем в Пацове. Мы вошли в лагерь через громадные, по русскому обычаю, ворота. Нас встретил небольшой оркестр, игравший легкую танцевальную музыку, так что многим показалось, что мы наконец попали в рай. С огромного портрета на нас взирал сверху Сталин, развевались красные флаги, а на многочисленных плакатах красовались слова о свободе и правах человека. Все воспрянули духом, решив, что все же недалек час возвращения на родину.

Преисполнившись новых надежд, серая кишка втянулась в чрево гигантского лагеря.

В нем уже находилось великое множество наших товарищей, которые с нетерпением ожидали от нас каких-то новостей и сгорали от желания встретить старых фронтовых товарищей среди новоприбывших. Для начала все мы прошли санобработку. Мы выстроились в длинные очереди перед дезинсекционными камерами. До группы, в которой находился я, очередь дошла только к полуночи. Душевые уста-

новки были поставлены прямо под открытым небом. Вещи мы сложили в печь для обеззараживания, оставшись совершенно голыми стоять в тусклом свете фонарей под звездным небом. От ночной прохлады наши истощенные тела мерзли немилосердно. Чтобы спастись от холодного ветерка, мы сбились в кучку, тесно прижавшись друг к другу, как овцы в стаде. Потом нас повели в душ. От холодной воды захватило дух. Струи ее хлестали нас, словно плети. Или это было что-то другое? То, чего в тот момент мы не могли ни понять, ни осознать? То, что было чуждо телу и недоступно душе? После того как помывка кончилась, нам пришлось ждать. Мы ждали целую вечность – не меньше часа. Все это время мы простояли голые, мучаясь от невыносимого ночного холода. Наконец из автоклава достали нашу форму. О, наши старые добрые мундиры! Мне часто, с разными вариациями, впоследствии вспоминался тот момент, когда холод и физическая боль были так сильны, что мне хотелось выть от них. Я описываю это событие как одно из многих мучений, которым нас время от времени – то чаще, то реже – подвергали. Можете себе представить, как нас постепенно превращали в животных, и те, кто смог сохранить ясный рассудок, с ужасом наблюдали это страшное превращение.

Под утро нас повели в бараки. Наконец-то свершилось – у нас над головой была настоящая крыша. В доме, куда нас привели, прежде располагался военный лазарет, и нас набили туда, как сельдей в бочку, от пола до самого потолка. Я да-

же не могу точно сказать, сколько нас там было. Могу только сказать, что в помещении не было такого места, такого уголка, где не лежал или не сидел бы, скорчившись, человек. Бывший лазарет напоминал кишачий насекомыми муравейник. Единственная разница заключалась в том, что все движения и перемещения в муравейнике упорядочены и целенаправленны, а в нашем бараке это была беспорядочная толкотня и суeta, сопровождавшаяся руганью и стычками, так как люди постоянно наталкивались и наступали друг на друга. Но зато теперь у нас была крыша над головой! Кто из нас в то время втайне не тосковал по землянкам Пацова? Там мы могли оставаться людьми – во всяком случае, те, кто сохранил стойкость и присутствие духа. Там мы могли свободно перемещаться хотя бы по территории лагеря и, объединяясь в небольшие кружки, в чем-то помогать друг другу. Здесь же масса людей была загнана в тесное ограниченное пространство. Здесь человеческая масса варилась в одном котле, который душил всякое человеческое побуждение. Здесь формировалась мрачная, темная, вялая и инертная душа массы, развернувшаяся во всей своей неприглядной красе. Этот отвратительный дух давил, рос, лишал воздуха. Рано утром нас выгоняли из дома. С нами обращались при этом как со стадом бессловесных скотов. Потом начиналось бесконечное, бессмысленное шествие безучастной серой массы вокруг массивного здания, бывшего нашим ночным убежищем. Вокруг каждого здания образовывалось се-

рое кольцо, топтавшееся на путях, превращавших в безвольную массу некогда свободных людей. Теперь это был замкнутый круг, по которому покорно шли рабы. Да, это были круги, из которых было невозможно вырваться. Они, эти круги, казались жерновами гигантской мельницы. Да! Это и была сатанинская мельница, перемалывавшая наши души.

Вскоре мы столкнулись с явлением, которое начисто отсутствовало в Пацове и которое можно смело отнести к самым отвратительным и, как теперь говорят, позорным для любого немца фактам. Мы убедились, что среди нас нашлось очень много негодяев, готовых поднять плеть на собственных соотечественников. Предатели делали это ради лишнего куска хлеба, ради двойной порции супа. Этот сброд именовал себя лагерной полицией. Самые безвредные действия или любые, самые мелкие нарушения не имеющего никакого смысла «лагерного порядка» карались лишением хлеба или заключением в карцер, где пленных переставали кормить вообще. Стоило кому-нибудь сойти с вечного круга и отойти на лужайку, чтобы пару минут спокойно посидеть на солнце или в тени, как рядом тут же оказывался «полицейский», и наказание следовало неотвратимо: лишение хлеба на сутки. Если кто-то, исхитрившись, покидал свою колонну и присоединялся к другой, такой же, чтобы попытаться отыскать там старого товарища, с которым можно было бы поговорить по душам, и если такого смельчака обнаруживали, то его отправляли в карцер, где он несколько дней голодал. Это что

еще больше увеличивало его и без того немалые страдания. Те, кто все это делал, были нашими соотечественниками! Не русские били и унижали нас. Не русские своими издевательскими доводами доводили нас до отчаяния. Нет, это были немцы! Откуда взялись эти уроды? Разве не все мы в течение шести лет, проявляя небывалое боевое товарищество, противостояли всем силам ада? Куда подевалось фронтовое товарищество? Чтобы успокоиться, я говорил себе, что вся эта клика лагерных прихлебателей, горлопанов и бахвалов состояла из тыловых крыс, не принадлежавших фронтовому братству. Как иначе смогли бы мы сохранить спаянность и взаимовыручку перед лицом смерти? Но против воли в сознание закрадывалась страшная мысль: значит, существуют условия, в которых даже такое единство может дать трещину. Наш фронт был железным, и все знали об этом не понаслышке. И здесь, в лагере, стало видно, кто действительно был сделан из стали. Здесь же руководили и задавали тон люди совершенно иного сорта. Людей постепенно лишали основы жизненной силы, без которой слабеет дух. В человеке просыпается дикий зверь. Люди дичают быстро, один за другим. Эта структура начинает воспроизводить самое себя. То, что люди преодолевали в себе тысячи лет, снова взяло верх. В наших душах сохранились все ступени лестницы, по которой мы поднялись над животным царством, но теперь создались условия, в которых эта лестница грозила рухнуть. Голод оказался самой мощной силой! Словно гигантский кулак, голод мят

и дробил несчастную человеческую массу. Людьми владело одно желание – получить еду, что-нибудь съесть, насытиться. В результате многие превратились в жестоких эгоистов, забывших о социальных связях и ответственности. Существовал ли вообще когда-нибудь нравственный закон в душах этих отвратительных эгоистичных мерзавцев? Этот вопрос не давал мне покоя.

Эти люди не ведали никаких моральных тормозов. Без зазрения совести наступали они на горло своим товарищам, если за это им обещали лишний кусок хлеба. Они переставали понимать разницу между своим и чужим. Даже суровая расправа не могла ничего в них исправить. Это меня ужасало. Конечно, в нелюдей превратилось меньшинство. Но разве это не страшно? И разве постыдное бессердечие не становится всеобщей болезнью?

Эту голодающую и страдающую массу людей мучили, кроме того, душевные переживания, связанные с оторванностью от родины, от всего, что было в жизни любимым и ценным. Мучила неизвестность о судьбах отцов и матерей, жен и детей, неизвестность относительно собственного будущего. Царил духовный застой. Остались лишь горестные раздумья и неутешительные мысли. Все ловили самые невероятные и разнообразные горячечные слухи и толки, которые с быстротой лесного пожара распространялись по лагерю. К этому прибавлялись все пороки однополый среды, которая угнетала даже нас, солдат, привыкших к подчиненному положению.

нию и казарменной жизни. Вынужденное существование в тесной близости с другими мужчинами, многие из которых никогда не знали женщин, создавало душную атмосферу отчуждения, которая еще больше угнетала людей. Я не буду описывать все эти переживания, в которых мешались реальность и фантазии, лишавшие людей остатков человечности. Одно это описание может занять тома руководств по психологии, оно не уместится в рамках моего повествования, поэтому я ограничусь описанием пережитых мной событий.

Время от времени даже там, в Немецком Броде, на мою долю выпала пара-другая счастливых минут. Все началось с того, что в соседнем бараке мне удалось разыскать Феликса. От него я узнал, где находятся Герд и Ганс. Людвиг жил в одном здании со мной, но мы состояли в разных отрядах и поэтому не могли общаться так часто, как нам бы этого хотелось. Правда, в определенные часы мы встречались и проводили в разговорах некоторое время. Это было как глоток чистого воздуха в этой удушливой атмосфере. Феликс сумел раздобыть у Фреймута, который тоже принадлежал нашему пацовскому кружку, том Шекспира, который теперь ходил по рукам. Пожертвовав третью хлебного рациона, я смог добыть книгу Теодора Кернера, чем смог хотя бы немного утолить духовный голод. Да, такая духовная пища была нам нужна, как воздух! Это чувствовали все! Нет нужды описывать, да у меня и не хватит на это слов, с каким пылом мы читали в уголке эти стихи и как они пробуждали наш дух! Именно

тогда я понял, что искусство трогает нас даже тогда, когда мы становимся глухи к доводам рассудка. Разумеется, такие переживания доступны не каждому, но у кого в душе есть божественные струны, могут в любой момент их услышать. Мы черпали силы в стихах этого великого поэта. После этого мы снова могли спокойно говорить о вещах желанных, но пока недоступных.

В лагере между тем существовало и «искусство». Под открытым небом была сооружена сцена. Настоящая сцена из досок, приподнятая над землей. Могло показаться, что туда будут сгонять сотни заключенных и демонстрировать им выступление варьете. Но здесь все было не так, как в Пацове. Здесь актеров подбирало русское начальство. Здесь командовали и приказывали. Здесь осуществляли политическое влияние. Режиссер театра с гордостью называл себя коммунистом, по обе стороны сцены развевались красные флаги. Здесь мы впервые что-то слышали об антифашистах. Но пахло все это изрядной гнильцой, это была искусственно сконструированная система. Актеры носили длинные волосы и выглядели вполне упитанными. Они не скрывали, что не хотят иметь с нами ничего общего. Нет, это было не живое искусство Пацова, которое выросло из нашей внутренней потребности и не давало ни актерам, ни режиссерам никаких преимуществ. Но у нас отняли и это! На место подлинного искусства было поставлено очень сомнительное действо. Мне было очень приятно, что никто из моих друзей

не стремился попасть на представления этих бесстыдных рабов, этих жалких паяцев. Конечно, мы могли бы при желании пробиться на эту сцену. Феликс был профессиональным режиссером. Людвиг и Ганс были настоящими актерами, Герд — помощником режиссера. Но никто из них не пожелал, как проститутка, играть на этой фальшивой сцене за кусок хлеба. В этом мы были единодушны. Дух нашего товарищества остался непоколебимым, но это стоило нам многих страданий.

Хочу вспомнить еще двух товарищей, которые сохранили верность самим себе и товарищам по оружию в то полное превратностей время. Они показали себя с наилучшей стороны, продемонстрировав, что истинная человечность не прививается образованием, но вырастает в душе из доброго нрава и здравого смысла. Я всегда буду помнить доброго Филиппа и Августа, клоуна из цирка Саразани. Филипп однажды вечером появился рядом со мной и объявил, что знает меня. Выяснилось, что мы с ним земляки. Он жил в том же городке, в котором я провел свою беззаботную юность. Он родился и вырос в том городе, где и я жил и развлекался, не имея ни малейшего представления о том, какой тяжелой может быть жизнь. Я снова вспомнил юность, она живо предстала перед моим внутренним взором, я мысленно перенесся в то счастливое время! Эти воспоминания на несколько часов скрасили убогую и страшную действительность, которая теперь нас окружала. Теперь рядом была одна живая ду-

ша, с которой я мог всласть поговорить о доме. Филипп знал о моей родине все. Он знал, где стояла церковь с высокой колокольней, знал все улицы и переулки нашего городка. Он знал все дорожки и тропинки в лесах и полях моего детства, и мы даже выяснили, что у нас есть общие знакомые. Так как мы находились в одном бараке, мы могли часто и подолгу общаться. Мне становится тепло на душе, когда я вспоминаю наши душевные разговоры. Как хорошо умел ты рассказывать о своей жене, и кто, кроме меня, мог понять, как ты тоскуешь по родному дому и семье. Ты, Филипп, был одним из тех людей, которые помогли мне сохранить в то страшное время веру в людей. Именно ты однажды дал мне крохотный кусочек хлеба, который оторвал от своей пайки, когда я был готов прийти в отчаяние от голода. Я никогда не забуду тебя, Филипп.

Вторым душевным другом стал Август, клоун. Он был небольшого роста, полноватый и ходил как ходят коверные клоуны по манежу. Редко приходилось мне встречать человека с таким неистощимым добродушием, с таким внутренним теплом. И ты, Август, остался верен своим внутренним убеждениям, и я люблю тебя, как любил немногих людей на свете. Помнишь ли те часы, когда ты рассказал мне всю свою жизнь, позволив мне заглянуть в самые потаенные уголки твоей души?

Это было вечером, когда мы с тобой сидели в углу, стараясь держаться подальше от напиравшего стада. Мы солидно

говорили о всякой всячине, но вдруг в твоей груди словно открылись какие-то шлюзы, и ты начал рассказывать. Ты говорил и говорил, а я сидел рядом и молча слушал тебя. Я слушал, стараясь не пропустить ни слова. Ты, должно быть, почувствовал, что небритый твой собеседник ловит каждое твое слово, впитывая его, как губка. Ты родился в бедной семье. Настало время, когда тебе просто нечего было есть. Ты поступил на работу в деревенский цирк. Ты стал клоуном, скоморохом. Ты был снова сыт, у тебя появилась профессия. Вскоре ты познакомился со своей будущей женой – канатной плясуньей. Вы ушли из цирка и стали выступать самостоятельно. Перевозя свой нехитрый скарб на тележке, вы кочевали из деревни в деревню и давали веселые представления для крестьян. Сначала ты собирал свои гроши, а потом выступала твоя жена, и после каждого номера ты обходил зрителей со шляпой в руке. Иногда тебе сказочно везло. К концу представления у вас было достаточно денег, чтобы прожить на них весь следующий день. Я чувствовал, угадывал, что ты, Август, рассказывал мне о том времени, когда ты был счастлив. Ты много рассказывал и о своей жене. Как много открылось нам за час того разговора! Я и сегодня могу утверждать, что это и было счастье, ибо что такое счастье, как не быющее рядом верное и любящее сердце? Все, что меня сейчас окружает, – это пустая мишура. Истинная ценность жизни только в любви! Потом ты рассказал, что вам удалось подняться, что твоя жена стала выступать со своим номером

в одном из лучших цирков. Пока она грациозно танцевала на канате, ты стоял на арене и угощал публику остротами. «Моя жена идет по дурной веревочке!» – в притворном страхе кричал ты публике, растянув до ушей размалеванный рот.

В этом месте своего рассказа ты весело, от души рассмеялся. Ты весь был в воспоминаниях. Как по-доброму, как искренне ты тогда смеялся!

Потом ты умолк, и между нами повисла тишина. Потом ты снова заговорил, но уже тихо и печально. Прошрое снова начало разворачиваться в твоей памяти. Твоя жена сорвалась с каната и сломала ногу. Теперь тебе пришлось работать за двоих. Наступили тяжелые времена. Но время милости-во, нужде пришел конец, когда тебя принял под свой купол большой цирк Саразани. Ты стал клоуном, получавшим надежную зарплату. Остряк, плут, шельма – забавная крошечная фигурка на краю манежа. Была уже глубокая ночь, когда ты закончил рассказ об этой части своей жизни. Потом ты снова замолчал, Август, и я понял, что мысленно ты вернулся в то время, когда ты каждый вечер забавлял падкую на зрелища публику своими смешными репризами и остротами. Что сейчас делает твоя жена, Август? Может быть, она снова танцует на проволоке, чтобы вам не было тяжело жить, когда ты наконец вернешься домой из долгого плена? Но разве это зависит от тебя?

Настал день, когда меня отправили в карцер.

В тот раз мне удалось проскользнуть в барак к Феликсу, и я пропустил время раздачи еды. Я слишком поздно вернулся на свое место. Мою порцию уже съели. Желудок громко урчал от голода. Я страшно расстроился, но ничего не мог поделать. Однако сидеть в бездействии я не мог и напустился на подонка старосту, бывшего штабс-фельдфебеля из ВВС. Это было невероятно глупо, но я потребовал свой суп. Я вспомнил о своих правах (как будто они у меня вообще были). Успокоиться я не мог. Я высказал ему в лицо все, что о нем думал, и закончил свою филиппику недвусмысленной цитатой из «Гётца фон Берлихингена». Нетрудно было предсказать, что последовало дальше: бессильная ярость, донос начальнику блока. Вскоре после этого меня схватили. Двое лагерных полицейских потащили меня к начальнику. Им усердно помогал староста отряда.

«Подлец!» – кричал я. Я мог бы многое ему сказать, но в ответ он заорал: «Заткнись!» Полицейские подняли свои дубинки. Произнеси я еще хоть одно слово, они бы просто меня избили. Только когда полицейские снова схватили и потащили меня, я начал понимать, что происходит. Что сказал этот пес? Что он сказал? Два дня и половина рациона! – вот что он сказал. Два дня и!.. Я отказывался верить своим ушам. Меня приговорили! Кто меня судил? Какой-то ничтожный негодяй. По его приказу меня волокли в темную дыру, где голод должен был внушить мне покорность!

И этот ублюдок, этот подонок староста отряда, гнусно

усмехаясь, что-то хрюкал себе под нос.

Я лежал на голом бетонном полу без одеяла, без матраца и без хлеба. Рядом со мной лежали еще три товарища, угрюмо уставившись в стены и потолок. Мне дали время подумать над моим преступлением. За те два дня, что я провел в карцере, нас ни разу не вывели на улицу. Нужду мы справляли в поставленное в углу ведро, от которого шел нестерпимый смрад. Параша была переполнена нечистотами, и мы все время старались повернуться к ней спиной. Смотреть из окна было не на что, кроме как на опротивевшую нам дымовую трубу.

Среди нас был товарищ, которого посадили на пять суток без еды. Этого обер-лейтенанта посадили за тот же проступок, что и меня. Утром нам бросали три куска хлеба. Четвертого не давали. У одного из нас должен был язык отсохнуть от голода. Обер-лейтенант безучастно сидел у стены, когда мы вгрызались в хлеб. Мы давали ему по кусочку от своей пайки. Он трижды произносил «спасибо» и снова умолкал. Когда мы получали по полпорции супа, ему давали просто воду. Надо ли мне еще раз говорить о том, что это немцы посадили его и меня в этот вонючий подвал? Надо ли лишний раз будить в себе чувство стыда и гнева? Двое других, возможно, заслужили свое наказание, так как воровали еду у товарищей. Воровали осознанно, даже если учесть страшные условия, в которых мы все находились. Но мы, мы двое, какое преступление мы совершили? Только за то, что

мы — с полным на то основанием — дали волю своим чувствам, эта бесчестная и бессовестная клика по собственному произволу на несколько дней заткнула нам рот. Мы должны были прочувствовать, что правом голоса здесь обладают только они одни. О, это презренное семя! Их стоило удушить, сунуть их мордами в вонючую парашу, чтобы они задохнулись в ее отвратительных испарениях! Во мне кипел гнев и страшное возмущение. Но я сумел собраться и взять себя в руки. Обстановка требовала осторожности. В карцере я приобрел ценный опыт и научился обуздывать свои чувства.

Когда через два дня я вышел из карцера, то не мог нарадоваться свежему воздуху.

Снова начались однообразные будни, я ел скудный паек, ходил строем вокруг здания и размышлял о том, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Уже тогда я стал подумывать о побеге. Но выскользнуть незамеченным из лагеря было решительно невозможно. Всеобщее настроение было не в нашу пользу. В стране царила ненависть, ненависть, направленная против меня, против любого немца. Мало того, я был истощен, и на мне была немецкая военная форма. Кто даст мне еду? Я не смог бы пройти Чехию, если бы мне даже удалось бежать из лагеря. Нет, разум подсказывал, что бежать еще не время.

Но мысль о побеге прочно угнездилась в моей голове и с каждым днем все больше меня занимала. Я с нетерпением

ждал каждого следующего дня.

Но надо отвлечься от бед и горестей того времени и рассказать пару веселых историй из жизни пленных в Немецком Броде. Речь пойдет о мальчишеских выходках. Слева от меня на нарах спал товарищ из Верхней Силезии, отличный парень. Это был старый, проверенный кадр. Война изрядно потрепала его; он участвовал во множестве боев, был трижды ранен. Настоящий фронтовик в полном смысле этого слова. В один прекрасный день лагерной администрации потребовались двадцать человек для уборки главной дороги лагеря. Мы с ним попали в число отобранных для этого пленных. Нам достался участок возле гауптвахты. И что же мы там увидели? Маленький огороженный садик, где росли фруктовые деревья, манившие своими спелыми круглыми плодами. Мы заметили его одновременно. Потом мы сразу посмотрели друг на друга. В наших головах промелькнула в тот момент одна и та же мысль. Слова были не нужны. Мы задумались, прикидывая, что можно сделать. Но это была чистая игра ума. Вывод напрашивался сам собой: надо придумать что-то необычное. Ясно, что садик находится слишком близко от русской охраны, к тому же вокруг этого райского садика лагерные полицейские поставили ограждение. Кроме того, надо было незаметно для охраны выскользнуть из нашего охраняемого блока. Но вдруг нам повезет! Вдруг повезет! Что за крепость перед нами? Как нам полакомиться плодами

ми? Мы же сможем — в кои-то веки — наесться досыта! Прекрасными, сочными плодами, которых мы так давно были лишены! Да! Сегодня ночью надо сделать попытку! Уже сегодня ночью!

Вечером того дня мы не спали. Мы бодрствовали, едва удерживаясь в ожидании самого безопасного часа. Было, наверное, около часа ночи, когда мы незаметно покинули здание. В призрачном свете луны мы пересекли дорогу. Мы ловко обошли все препятствия и без помех добрались до сада. Здесь уже потребовалась предельная осторожность. Русские патрули ходили совсем рядом, а колючая проволока, проходившая в непосредственной близости от садика, была ярко освещена. Но голод упрямо гнал нас вперед. Мы поставили на карту все. И что же? Скоро мы, как ночные призраки, уже повисли на ветвях самой высокой сливы. Мы с невероятной жадностью принялись есть, или, лучше сказать, жрать. Мы напряженно, а точнее, с презрением смотрели на зевающих русских солдат, стоявших у лагерной ограды в пятнадцати метрах от нас и не догадывавшихся о том, что у них под носом двое немецких военнопленных едят сливы их командира. Насытившись, мы набили сливами штанины и карманы форменных галифе и снова скользнули во тьму. Вскоре мы незамеченными вернулись в наше человеческое стойло. Добычу мы положили в мешок, который каким-то чудом сумел сохранить силезец. Этой ночью мы спали как убитые. Утром, однако, наши ближайшие соседи знали о нашей вылазке, но

зависть быстро улеглась — добыча была очень велика! Свою долю получили все, посвященные в эту тайну.

Первый опыт оказался удачным!

С того времени мы стали совершать набеги на сад каждую ночь. Они вошли в привычку; мы осмелели, в наших действиях появилась даже дерзость. Сначала мы обчистили все сливы, потом яблони. Каждый раз мы подходили к русским постам на один-два метра ближе. Однако нашим наивысшим достижением стал сбор сочных груш с дерева, которое росло прямо у поста и крона которого была наполовину освещена фонарем ограды. Мы разулись. Ловко и бесшумно мы медленно поползли по земле в тени дерева. Мы ползли осторожно, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Мы внимательно следили за действиями русского солдата, и, когда он, повернувшись к нам спиной, отошел на несколько метров, мой спутник встал, я забрался к нему на плечи и принялся усердно рвать сочные, такие желанные плоды. Как только охранник поворачивался, я тотчас снова прятался в темноту, прежде чем он успевал меня заметить. Эта игра продолжалась до тех пор, пока мы не набрали столько груш, сколько смогли унести. Отступление в блок прошло без сучка и задоринки.

Через восемь дней мы заметили, что сад стали охранять строже, чем обычно. Нам пришлось отступить несолоно хлебавши. С той ночи нам пришлось прекратить вылазки. Очевидно, комендант хотел сам есть фрукты, а кто-то весьма

успешно делал это вместо него. Но восемь дней мы были сыты, а это для нас очень много значило. К тому же мы испытывали радость оттого, что смогли хоть что-то безнаказанно украсть у русских. Правда, когда я сегодня вспоминаю об этом, по моей спине пробегает холодок. Сколько наших товарищей было застрелено русскими только за то, что они посмели слишком близко подойти к проволоке. Но пленных гнал к проволоке голод, который в наших условиях был отнюдь не пустяковой мелочью.

В один прекрасный день среди пленных возникло небывалое волнение. Немецкие лагерные врачи объявили о предстоящем медосмотре. Видимо, лагерной администрации надо было найти стариков, отсортировать слабых и больных. Среди нас с новой силой вспыхнула надежда. Пошли невероятные слухи, начались самые разнообразные толки о том, что это признак скорого освобождения! Наконец-то все прояснилось! Стариков и больных, конечно, освободят в первую очередь! Это справедливо и правильно. Остальные, которых большинство, вскоре последуют за ними. Ура, ура! (Кто думал тогда по-другому?) Ни у кого не было ни малейших сомнений!

О, безграничная людская простота! О, человек, ты видишь все вещи в желательном для себя свете, не воспринимая доводов разума. Но я не делаю исключения и для себя. Я тоже подпал под влияние массы и пребывал в прискорб-

ном заблуждении, даже садясь в битком набитый товарный вагон, который покатился не на запад, а на восток. Если и в самом деле нескольким больным товарищам посчастливилось уехать из Немецкого Брода на родину, то я от души желаю им счастья и радуюсь тому, что хотя бы частица мечты воплотилась в явь.

Основную массу пленных, однако, погрузили в вагоны, и многочисленные эшелоны повезли нас навстречу неизвестности. Но даже и там находились люди, твердо убежденные в том, что нас везут в Германию. Но жизнь очень скоро избавила их от иллюзий.

Я оказался в числе сорока шести человек, которых запихнули на соломенные жесткие тюфяки в вагон для скота. Лечь могли не все. Некоторым приходилось стоять. Для сна мы по очереди менялись местами. Плащ-палатки и одеяла, из которых мы пытались делать импровизированные гамаки, не решились проблему. Теснота была ужасающая, страшная и угнетающая. Любое перемещение было страшно мучительным, мы постоянно наступали друг на друга. Свежий воздух почти не поступал через два крошечных зарешеченных оконца. Мы думали, что задохнемся. Как только мы все это выдержали? Ржавая труба, вделанная в пол вагона, служила нам туалетом, которым надо было еще уметь пользоваться. К сожалению, через эту трубу было невозможно одновременно справить и большую и малую нужду. Эту неприятность мы обходили с помощью пустых консервных банок. Но нашелся

ли хоть один человек, который ради всеобщего блага был готов поделиться с другими своей жестянкой? Ни в коем случае. Но банки воровали, и счастливый обладатель банки мог наутро стать самым несчастным нищим. Днем мы по большей части стояли, стараясь протиснуться к зарешеченным окошкам, чтобы взглянуть на божий свет и, самое главное, попытаться определить, куда мы едем. Выяснить общее направление было нетрудно. Сначала мы ехали на восток, проехали Братиславу, а потом повернули на юг, и в этом направлении мы – с долгими остановками – продолжали ехать много дней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.